

АНДРЕЙ АНТИПИН

ЖИВЫЕ ЛИСТЬЯ

Из книги миниатюр

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Набрал из ручья — ледяной, стеклянной, с живыми песчинками на дне. Раньше (в моём детстве) бежала по алюминиевой трубе. Потом, когда началась лихорадка с цветными металлами, — по железной ржавой. А нынче и эту выворотили, увезли на “Вторчермет”, и теперь струится по обломку шифера, оксидно-зелёному от тины...

Что ещё ждёт тебя, Россия?

РОССИЯ

1

На рассвете того мглистого сентябрьского дня приехал на велосипеде, чтобы проверить сети. А меня позвали в дом, где в закутке, отгороженном задергушкой, на небольшой деревянной кровати лежала она, открыв сухой рот. К нему раз за разом приближали зеркальце на оборотной стороне массажной щётки, которое потом поднимали на свет лампочки, и оно было незамутнённым, не отобразившим ничего, кроме молчания.

И когда проверял сети, и когда перегребал реку, взрывая вёслами воду, всё мне казалось противоестественным: и эти мокрые холодные сети, и несколько сорожек и окуньков, которых они принесли, и навязшая, пропахшая донной затхлостью тина, и длинная галечная коса с чахоткой кустов, красно плюющих на ветер, и низкое, в свинце и стелющемся дыме небо, куда отошла её душа и, может быть, в этот миг глядела на меня уже из-под Его руки, а её тленное тело, накрытое простынёй, ещё покоилось в одной из старинных сибирских изб, вставших по речному угору.

К той поре в избах проморгались окошки, загорелись жёлтыми сокращающимися пятнами, и только одно скорбно чернело. И пока вытаскивал лодку на берег, пока примыкал к якорной цепи, вкопанной в угор, а затем шёл с вёслами, слушая скрип уключин, всё думал о том, что вместе со светом этого окошка ушла из моей жизни корневая Россия, забрав свои песни, свой язык, свою память, правду и сокровенную правоту — жить так, как на роду написано.

Окончание. Начало в № 4, 8 за 2020 год.

Вот бы и заплакать в голос, убежать с зажатыми ноздрями в лес, бродить весь этот хмурый осенний день в тёмном сыром ельнике. Но отчего-то, откуда-то, каким-то ветром из каких-то невозможно горьких печных труб наносило этим: “Она жива! Жива! Жива!” И как это тревожное, ещё неясное чувство можно было связать с той, что ждала своего погребения в стылую северную землю?..

2

Фёдор Шаляпин, который при большевиках покинул Мариинский императорский театр и подался в частную оперу, спустя годы вспоминал, что не заметил разницы. Потому что Мариинский театр всегда был с ним, и он ушёл, унеся его в себе.

Вот и с ней так: ушла, но осталась навсегда со мной. И во всякую минуту жизни я могу доподлинно вообразить, что бы она сказала по тому или иному поводу, какими словами, с каким выражением лица, и даже то, чего не коснулась бы, на чём осеклась бы её речь, для меня не тайна. Мне наперёд известно, как бы она при этом себя вела, держала ли руки на коленях или копалась в карманах, проверяя сохранность каких-то своих маленьких секретов, либо перевязывала бы платок, подбивая волосы на висках, а не то наклонилась бы, подняла и отбросила острую щепку, чтоб никто ногу не наколол. В конце разговора она долго, как будто в последний раз, выдохнула бы, поёжась от одной ей ведомого холода, который в этот миг обступил её душу, а пошла бы проводить за ворота — первым делом заглянула бы в пустой почтовый ящик и виновато улыбнулась...

3

Бабушки нет уже несколько лет. Нет России моей лесной, синеокой. Но разве скажешь, что она умерла? Разве не её слова говорят во мне? Разве скрип не её палочки я слышу в проулке?

РУССКОЕ СЛОВО

Бабушка рассказывала:

— На Заборье — бор. На бору бугры: на бугре брусника, под бугром — черника. Все-ё дивились!

...После её смерти хотел написать: “С тобой, бабушка, ушли твои песни!” Но сам себя и одёрнул, вспомнив, что бабушка была из той породы сибирских старух, которые выговариваются не песнями, а устными народными рассказами. В них Лена-матушка заливалась по большой воде на кладбище, девки кричали: “Перевозу! Перевозу!” — парни весело отвечали им: “А где зимой были?!” — и по лесной дороге ехал чёт на лошади, во тьме за стеной избушки горели жёлтые огоньки, ржала испуганная кобылица, старик Фока зажигал последнюю свечу и крестился, а на рассвете надевал и́чи-ги, брал ружьё и уходил под Нёшену гору...

Может быть, потому я и вырос писателем, что однажды бабушка склонилась надо мной, как будто само Русское Слово встало у моей колыбели.

ПАУТИНКА

Лило всю ночь, не стихая, канавы наполнило до краёв — красной, густой, как отворённая кровь. Наутро хорошо пахло настоявшейся сыростью, опавшими листьями, грибами, бунинскими стихами из журнала “Нива” за 1889 год. В лесу почти осенний холодок. Светится дождевая капелька в паутине, и сама она — обвисшая, волглая — светится. И нечаянно аукается из детства, что порвать паутину — к смерти...

И когда возвращался под вечер с одной-единственной лиловой волнушкой на дне ведра, с тропинки взбежала на лиственницу пепельная, с огнистым хвостом белка. Зацокала, уставясь. Покрутила задком, похлопала в лапки, не то поддразнивая, не то приветствуя. Поиграла хвостиком, выстлав по спине и вода туда-сюда, будто шаркаясь банной вехоткой. А затем взвилась, как по винтовой лестнице, бросила сверху пустой шишкой! Словом, как в юности моей, когда в эту пору белки прибежали в посёлок, забирались в палисадники, будили собак. И стихи:

*Где чуфыкал косач, так кудахчут, стуча друг о друга, осины
И красные листья над жёлтыми травами огненным духом несёт суховей.
Они бы, пожалуй, накрыли — как облаком рваным! —
и синь, и Сибирь, и Россию,
Промчав над страной в Берендеево царство
за тысячи вёрст
и десяток солёных и пресных морей...*

Памятно всё. Всё больно. Всё остро. Обо всё режешься — босой об осок. И нипочём не заворотить время, которое уходит, как не умолить никакой мольбой Того главного, кто крутит-наматывает на палец небесную паутинку. И всё ближе перет Господень, вот-вот порвётся заветная ниточка. И жизнь моя, дождевая капелька, упадёт и высохнет на лету, словно и не было её.

БАБОЧКА ДРОЖИТ

Пробрасывает игольчатым дождём. Это ещё не снег, но уже и не дождь, да и осень, если разобраться, — уже не лето, но ещё не зима, а жизнь, как сказал кто-то из великих, есть коротание срока от рождения до смерти. И как счастья на земле не бывает много, так и солнце теперь лишь изредка мелькнёт из-за туч. Но чаще — тучи без солнца, а дни — с ветром, надувающим лес в сопках и флаг над крышей сельсовета. В палисаднике валяются и валяются листья, словно клочья шерсти с большой собаки. И журавли летят на юг. Пока не плачут — не прохлестало снегом, ещё есть время и спеть, и улететь.

Но чёрная, с изумрудными глазами бабочка мёрзнет уже и при осеннем прощальном солнце, не может поднять бархатных крыльев и едва заметно дрожит, сидя на камне у воды. Никогда бы не подумал, что бескровное насекомое способно дрожать, что оно, как и мы, “кожей” чувствует холод! Только когда принял крохотку в ладонь, бабочка отогрелась. Раз-другой сложилась и разложилась крыльями, будто маленькая праздничная открытка. И упорхнула, ничего не оставив на память, кроме этой миниатюры и той невыразимой, пьющей душу печали, которая овладевает нами, когда провожаем навсегда, а сами остаёмся, зная, что уже не будет встречи — в этой жизни, на этой земле, под этим то ясным, то ненастным небом, под которым стоишь сейчас смиренней былинки, как, наверное, будешь стоять в конце, на пороге вечной разлуки, уходя сам и помня о тех дорогих, любимых, кто станет провожать, ни в чём не находя себе утешения.

ЖИВЫЕ ЛИСТЬЯ

В ветреный золотой день шёл краем осинового перелеска, подняв ружьё в ожидании, когда взорвётся с характерным треском и кудахтаньем обретающийся тут с лета тетеревиный выводок. Но вот опустил ствол и замер — с новым порывом ветра с осины, несколько подавшейся в поле из ряда других, посыпались листья. Часть, как и должно быть, упала на землю, выстилая изножье осинника ковром не ковром, дорожкой не дорожкой, но цветастой черепицей. Остальные, трепеща и играя, устремились над полем так далеко, что

вскоре скрылись из глаз, а я всё стоял и не мог понять, как это могло произойти. И лишь когда осторожно, всё равно что к притаившейся тетёрке, подкрался к заинтересовавшей меня осине на расстоянии, достаточное для того, чтобы стала видна каждая веточка, разгадал эту маленькую тайну. Оказывается, кочующие на юг луговые коньки то и дело облепляли дерево, а в урочный миг, когда задувал ветер, отрывались вместе с последней листвою, вероятно, принимая её за кого-то из своей стаи, и летели дальше живыми листьями.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГЛАЗА

Волнушек в этом году — шиш с маслом. Маслята отошли во время сенокоса, когда не до грибов, сено бы скосить-скопнить да вывезти посуху. Сентябрьские — водянисты от дождей двух минувших недель и, как следствие, червивы. Посмотреть со стороны: мочало да мочало, точнее, поролоновая губка — в таких же норках-порах, а сжать в кулаке — мерзкая слизь. И тётя Дуся-фермерша, взгромоздя в автобус поклажу с творогом, молоком и сметаной, говорит, выскребая из гаманка три пятидесятирублёвые бумажки:

— Летом ведро воды с ложку, осенью ложка воды с ведро!

Одна забава: несколько раз, едва ободняет, надевал дождевик и ходил бить уток. Но это лишь фигура речи — бить! На самом деле бродил берегом Лены, из-за разлившейся воды не умея продрасться сквозь кусты, за которыми тегали жирные осенние чирки, кряковые и крохали. И в один из дней, попав под ливень, угробил цифровой фотоаппарат — друга и выручку многих писателей, особенно тех, кто, как и я, уже не то чтобы писатели и не могут, например, описать словами, но ещё и не художники, чтобы изобразить красками, притом что запечатлеть в равной степени хочется, отчего это пограничное состояние между утраченным умением и необрётённой способностью тем болезненней, а владение нехитрым ремеслом фотосъёмки, соответственно, спасительней. Словом, испортился мой агрегат, вероятно, потому, что окислилась какая-нибудь микросхема, в последний раз задрнулась чёрной раздвижной шторкой — и молчок. И у меня словно глаза потухли, и как-то сразу стало нечем остановить этот мир, задержать в кадре и оставить навсегда ту же тётю Дусю, когда она по приезде в город семенит к уличному рынку, норовя поспеть раньше конкуренток из соседних деревень...

Но, видно, не зря сказано, что нет худа без добра, и хотя с поломкой фотоаппарата снова всего и числится у меня на вооружении, что лишь блокнот и карандаш, как было на старте моего писательского пути, зато начинаешь осознавать, сколь много это! Пожалуй, больше, чем способны дать глаза, уж во всяком случае — дальновидней внешнего зрения, а следовательно, прозорливей и правдивей по существу.

РОЦА ЗОЛОТАЯ

Всё чаще хлещет дождём, лишь последние дни были солнечными. Вот и теперь заненастило. Тучи жмутся к земле, и рано темнеет. Взабегать на угор — лес яркими пластинами! Каждый телескопически выдвигается над другим: жёлтым — берёзовый, багряным — осиновый, бурым — черёмуховый. А ветер — взвертит космами, пламенем, искрами, словно секутся электрические провода. Стоишь без шапки — и душа вон от невозможности описать и бесконечности любви ко всему этому земному, милому, тленному...

Каждое утро, едва обсохнет, хожу в лес. И как тоже славно — бродить по осеннему! Лучше всех, пожалуй, понимал это Николай Рубцов. Он ведь весь в заветном русском пейзаже с этим вот березняком, с дождиком после обеда и белыми снопами дыма над деревенскими огородами... Очень сентябрьский поэт. Светлый. Из лета в осень. Есенин ближе к октябрю (в буквальном смысле, без подтекста). В нём больше ветра и промозглости. Больше ощущения подступающих метелей. Ужаса. Мрака. Деревянных всадников

в саду. А в Рубцове всё-таки есть надежда! Так есть она, пусть слабая, скоротечная, в этих листьях — пожелтевших, но ещё не оторвавшихся от веток:

*Въезжаем в рощу золотую,
В грибную бабушкину глушь,
Лошадка встряхивает сбрую
И пьёт порой из тёплых луж...*

.....
*И, как тебе, цветам осенним
Я всё шепчу: “Люблю! Люблю!”*

Или:

*Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья улетели?*

...У Есенина и этой малой надежды нет:

*Как дерево роняет грустно листья,
Так я роняю грустные слова.*

*И если время, ветром разметая,
Сгребёт их всех в один ненужный ком,
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.*

И совсем недаром одно из самых проникновенных и памятных у Сергея — вот это:

*И мне, чем сгнивать на ветках,
Уж лучше сгореть на ветру.*

Но, может быть, потому-то и отзывается душа на стихи Есенина, как ни на чьи другие, разверзается ямой, так что дна не видно, и всё оттого, что правда у него страшнее вымысла. И если бы не Рубцов, не врачевание его, и когда бы не рубцовская свершившаяся способность дожить до тридцати пяти и уйти, ни в чём не растратясь, не погаснув, не зачерняясь ни строкой, — как было бы душно и сумно на белом свете...

ЗАБЫТАЯ СТРОКА

Вычитал в школьном блокноте: *чист, как молодой маслёнок*. Написано простым карандашом и уж конечно не за писательским столом, которого в ту пору как такового не было, а на острой юношеской коленке...

Поэзия, только она даёт ощущение нравственной чистоты. Только зная и любя её, человек вправе сказать: *я чист, как молодой маслёнок!*

ПЛУГ

Нашёл его в один из дней минувшего лета, когда искал грузди в перевесовских лесах за валами, за полями, за покосными лугами. Не сразу сообразил, как он очутился среди деревьев, каждому из которых не меньше тридцати лет. Только потом догадался, что не так давно на месте этого леса была пашня, туда-сюда ходили трактора, таскали плуги, бороны, сеялки. Однажды этот плуг отцепили прямо в поле, в конце борозды, — скорее всего, там, где становалась тракторная бригада. Наверное, думали вскорости забрать.

Или оставили до будущей весны, когда бригада снова придёт в эти дальние поля по ту сторону Лены. Но началась перестройка, всё пошло кóсом — и не только брошенный плуг, но и страна стала никому не нужна. И вот стоит он в молодом лесу, как памятник государству, которого уже нет, а эти берёзы и осины — словно венки, возложенные к подножью...

Постоял рядом, приложив руку к забытому, ржавому, с некогда нашлифованными до зеркального блеска, а теперь потускневшими лемехами. Подумал о том горьком, что выпало на долю русской пашни в конце двадцатого века. Набрался вековечной мужицкой силы, распахавшей здешнюю тайгу, поднявшей наши северные земли. Запомнил это отныне сокровенное и святое для меня место — и пошёл, чтобы писать свои книги и однажды оставить карандаш в конце испсанного листа, как плуг на пашне, и уйти в ту же землю, полную холода, льда, вечности.

ЗАЧЕМ?..

Что-то мистическое в речных берегах поздней осенью, когда листва опала, грибы и ягоды в лесу за Леной отошли, а блесна снова и снова цепляют паутину мёртвых водорослей, и делать, в общем, нечего, разве что жечь костёр из сухих талиновых веток, а под вечер сплавляться в лодке на ранние огни посёлка. Посыплет на воду последний в этом году докучный дождик — как будто подошла и кормится рыба стая, сверкая серебряными ртами. И в который раз поймаешь себя на мысли, вернее, на всегдашнем беспокойстве: а ну, как у рыб есть разум? И что, интересно, они думают о нас, людях, да вот хотя бы о тебе, меланхолично забрасывающем спиннинг то ближе к берегу, на мелководье, а то на стремнину, к зиме тем более быструю, упорную, сдавленную, словно торопящуюся донести свои воды до океана?

И курлычет в пасмурном небе ворон; плачет, кружась на фарватере, одинокая чайка, похожая на ком взбитой пены; светит в первых сумерках красный маячок навигационного створа; зыкает, колеблемая напором воды, бакенная цепь... И не ты, сегодняшний, а тот, давнишний, говорит из дальнего далека, и тебе слышно, да так, как будто это и ты говоришь, проникаясь вместе с ним, вчерашним, нездешней тайной, доверенной вам обоим: одному — гениальными строчками, тебе — и поныне живой тоской, которая в ином теле, при иной судьбе, при другом даровании родила бы, пожалуй, этот мучительный выдох:

*Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?*

И ведь действительно, зачем? Не ворон, не чайка вот эта, не изумрудная щука, которая преследовала блесну до самой лодки, но в решающий миг извернулась гладким сырым телом — да и уплыла, полыхнув в свинцо-синей воде молочно-белым продолговатым брюхом. И, может быть, навсегда унесла с собой отгадку на все твои вопросы, оставив тебя наедине с твоей тоской, с этими угрюмыми берегами, с вечной тайной и бесполезными попытками её разгадать.

НАД ЛЕСНЫМ СКЛОНОМ

Ночью был шквальный ветер, скомкал и унёс последние листья. В лесу сразу развиднело, будто каждый куст, каждое дерево вычесали мелкой гребёнкой. Зато заметней пни, корни, горелая валежина, пустое осиное гнездо на ольховой ветке.

...Когда спулся от заброшенной телевышки, стоящей на сопке в тайге, промазал в глухаря, который клевал камешки на дороге. Заметил его первым, выстрелил малокалиберным патрончиком с разрывной пулей. Шумно взбивая воздух, жирной чёрной кляксой сорвался и утянул под покать, где

брусничник и сквозной осинник на месте давних рубок. А когда я побежал следом и посмотрел вниз, надеясь, что сейчас пойдёт юзом и с кудахтаньем упадёт, увидел за деревьями, под сопкой, спичечные корбушки домов и стеклянную полосу светлой осенней Лены с плывущим танкером. И было слышно, как кто-то в посёлке скидывает с тракторной телеги тяжёлые смолистые доски...

И тогда всё смешалось: печаль и радость, боль и любовь, одиночество и страстное желание живой души рядом, восторг жизни и боязнь ранней смерти! И кто-то тот, кто прежде жалел, берёт от особенно сильных потрясений, теперь словно проехал с опущенным плугом, распотрошив душу и разрушив всю корневую систему, но зато и отвалив драгоценный пласт.

ЖЁЛТЫЙ СВЕТ

Снежит. Дует холодный ветер. Поздно. Собаки в будках. Жуткий жёлтый свет в окне на другом конце посёлка...

Что там? Может быть, какое-нибудь горе? Или одинокая старуха, которая боится погасить свет на ночь?

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

Зачем мы себя мучаем? Молчим? Не прощаем обиды? Обижаем? Думаем плохо о вчерашних товарищах? Радует их поражениям? Завидуем победам и всеми правдами и неправдами умаляем их? А при встрече не здороваемся, перебегаем на другую сторону улицы или делаем вид, что с кем-то важным говорим по телефону?..

Встать бы на перекрёстке и всем прохожим раздавать открытки с надписью “Тому, кого мне не хватает”.

ТЕНЬ

На исходе ясного осеннего дня летит над лесом ворон, а метрах в ста от него, отражаясь в пустом вечернем небе, — его тень. Но и когда ворона уже не видно, тень ещё некоторое время летит, вероятно, сообразно с каким-то законом физики...

Ещё в университете стал замечать: почерк всё чаще напоминает почерк старшего брата. А с недавних пор — отцовский.

Брата нет уже много лет, но есть во мне его почерк, а значит, тень ещё летит.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Страх смерти близкого человека. И страх жизни после смерти близкого человека.

УХОДЯ

Ноябрь: приморозило, и мужики всю ночь жгут костёр на кладбище, чтоб оттаяла мёрзлая северная земля. Ярко, видно издалека. Лизание огня, блики его на отпотевшем листе жести, на скуластых медных лицах...

Я не знаю, какой я писатель. Вполне вероятно, что не очень-то и хороший. Но уходя, унесу с собой не сожаление о ненаписанных рассказах, а эту тёмную сибирскую ночь с костром на деревенском кладбище и с этими молчаливыми мужиками, сидящими рядом на корточках.

УНИФИКАЦИЯ

Всегда возмущает нота снисхождения, этакой моральной уступки в пользу менее развитых оппонентов, а тем паче высокомерное разглагольствование иных чернильных умников с видом третейских судей, якобы знакомых с предметом спора, их беспардонное враньё, оголтелая хула и грубый дилетантизм, выдаваемый за научное обоснование...

Всё это я говорю о критике так называемой “деревенской прозы”.

Претензий много. Но едва ли не основная масса шпилек, дротиков и ядовитых стрел приходится на используемую “деревенщиками” диалектную лексику как типическую черту представляемой ими литературы, а точнее сказать — того среды, из которой эта литература, собственно говоря, произошла.

Чего только не наслушаешься, от скольких плевков утрёшься, по каким только сальным носатым рожам не ударишь в ответ!

Обвинения в патологической любви к областным словарям стали точкой преткновения на поле этой брани. Подозрения в фетишизации народной речи сквозят чуть ли не в каждой ехидной ухмылке. А уж рассуждений на тему художественного этнографизма, этакого стилистического антуража, создаваемого “деревенщиками” посредством привнесения в текст диалектной фразеологии, и вовсе не счесть.

И в воздух чепчики бросают перед зданием российской словесности, и кулаками потрясают, и толпятся с транспарантами, исполнены призывов общественного возмездия и гнева, и требуют именем закона отстранить, упечь в кутузку, заставить подобру-поздорову следовать пресловутым “нормам” литературного языка. Поневоле взмолишься и рявкнешь по-шукшински: “А в чём дело, вообще-то?!”

А дело, милые наши критики, в том, что лексика героя, кем бы он ни был и в какой бы чуждой вам российской деревушке ни проживал, это его естественная, сиречь типическая черта.

А что есть типическое, если не истинное?

Таким образом, использование типической лексики — не антураж, не блажь, но элементарная для всякого уважающего себя художника попытка создать такой образ, который отвечал бы жизненной правде и был подлинен по сути. В этом смысле тот, кто выступает против типического, в данном случае — против типичности языковой, ни много ни мало, но принуждает поступиться достоверностью создаваемого образа и подвергнуть унификации несомую писателем правду жизни, преобразовав её согласно правилам, принятым за норму в той языковой среде, в которой герои книг этого писателя никогда не существовали, а следовательно, не способны выступать носителями культурологических директив этой среды на практике. Вместе с тем, всякая насильственная попытка всё-таки навязать героям несродный им, но диктуемый тип поведения, в частности, тип речи, есть заведомая ложь и художественная профанация.

Отдельно стоит подчеркнуть, что такого рода призывы к унификации, в нашем примере — к единообразию литературного языка, почти всегда направлены на произведения “деревенской прозы” и на представителей этой прозы как непосредственных выразителей народной этики — в первую очередь. Во всяком случае, что-то не слышно схожих обвинений в ангажированности и сознательном украшателстве речи, равно как и требований свести её, речь, к общему знаменателю, когда разговор заходит о других “литературах”, если делить их по примитивному местническому принципу, принятому в отношении писателей “деревенской” школы как дифференцирующий признак притом, что правила для всех равны, и если условный “городской” автор, фиксируя типические для своей среды черты, считается при всём при том писателем реалистичным, то есть правдиво изображающим мир своих персонажей во всём его многообразии, то почему “деревенские” писатели, делая то же самое, но на сельском материале, всякий раз оказываются по ту сторону красных флажков?

Если уж мы заговорили о предвзятости, а то и откровенной фобии в оценках “деревенской” прозы, нелишне вспомнить один давний, но весьма наглядный пример.

Когда писатели-одесситы ввели на деревянных шаландах в русскую литературу свой торгаший жаргон, наша интеллигенция возликовала и растащила “привозную”, действительно правдивую и живую речь на цитаты, восторгаясь остроумием, украсностью и *гарностью* героев Исаака Бабеля, Ильфа и Петрова и иже с ними вплоть до эстрадного примитива Жванецкого. Но было ли такое, чтобы живой язык героев Валентина Распутина и Василия Белова, Виктора Астафьева и Фёдора Абрамова, Василия Шукшина и Евгения Носова вызвал в образованном российском обществе хоть малую толику искреннего умиления или даже простое желание воздать должное выразительности, свободе и красоте родной речи? А впрочем — те-с-с! Толерантность! Нишкни, русский ватник! Как бы в красно-коричневые не записали...

Истинно прав был Достоевский: ни один другой народ не оплёвывает себя так самозабвенно, как это делают русские.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Ничего, впрочем, не констатируя: когда наши либеральные друзья говорят о наших общих достижениях, которыми и перед мировой общественностью не грех похвалиться, то употребляют выражения: *российский* народ, *российская* история, *российская* культура, *российская* литература и даже *российский* язык. Подразумевают, что это всё — достояние всех народов, составляющих дух и жизненную плоть России.

И мы с этим согласны, а которые из нас что-либо скажут против, лишь бы в некоторых случаях восстановить историческую справедливость или хотя бы чуточку приблизить имеющуюся точку зрения к реальному положению вещей, так их за один только этот порыв обзовут националистами, шовинистами, фашистами. Почему? Потому, что в современном обществе возобладала *толерантность*, то есть — негласный запрет на жизнеутверждение представителей одной конкретной нации, а именно той, что больше всех и дала, когда шапка пошла по кругу. По мнению наших друзей, это жизнеутверждение одной причинит ущерб существованию других в составе единого целого. Что жизнеутверждение тех других способно, так или иначе, причинить ущерб существованию той одной нации, об этом наши друзья предпочитают умолчать.

И при том при всём: едва речь заходит о неких теневых явлениях нашей жизни, вообще сопутствующих историческому существованию всякой нации, те же самые либеральные друзья вооружаются презираемой ими националистической терминологией и проводят строгое размежевание, дабы, так сказать, выкорчевать корень зла и предъявить его цивилизованному человечеству. При этом “землепользовании” природа оборотной стороны нашей жизни отходит, как ни странно, не за общую границу, что было бы правильно и последовательно в смысле логики, а за межевой столб той самой одной конкретной нации, которой во всех иных случаях отказывается в праве на предопределение. И вот уже наши толерантные друзья, утирая широкие плешины, взахлёб рассуждают о *русском* бунте (“бессмысленном и беспощадном”), *русском* фашизме, *русском* беспамяත්стве, *русском* невежестве, *русском* пьянстве и, разумеется, *русском* свинстве.

ПРИМЕТА

В девяностые и в деревню пришла мода — покрывать полы линолеумом. Сколько скандалов было, сколько визжали и донимали бабы, сколько успоряли мужики! И сколько обиды, а то и зависти накопилось в сердцах сельских жителей оттого, что одни могли раскошелиться на линолеум, а другим купить его было не на что. Денег-то не хватало. Откуда они — деньги?

Забастовки в стране. Половина посёлка — без дела. А кто и работает, поллучку месяцами не видит. Но бабам разве докажешь?

Не миновала напасть и наш дом. И однажды мать завела разговор о том, что нужно бы и нам подсутиться. Отец, понятно, в штыки. Ему главное — чтобы в доме сытно да дети — одеты-обуты, а на красоту плевать. Мать — в слёзы: соседей стыдно! “Будут, — кричит, — ребятишек дразнить на улице, что Антипины — нищие...”

Не разговаривали несколько дней, порознь столовались. Болезненно тихо — садись в уголок и плачь — было в нашей квартире. И мы, ребятишки, не знали, чью сторону занять: и по линолеуму охота побегать босиком, и отцу трудно...

А пришла в гости бабка Надя Полякова — ещё не так чтобы обветшавшая старуха, со смертью мужа кукувавшая одна в большом доме, — выслушала обе стороны, согласно покивала той и другой, да и решила спор:

— Линолом стелить? Да вы чё?! Он же — к покойнику... — И отцу укладкой подмигнула.

Мать тут и села! И впредь о линолеуме не заикалась.

ШАВРИНЫМ ХУЖЕ

В пятом или шестом классе клянчил у родителей на игровую компьютерную приставку, которые только-только появились. Подержанная стоила сто рублей. Или куль картошки. Цена вроде бы незначительная, даже для деревни. Вернее, вполне ощутимая — если деньгами, а картошкой — терпимо, потому что накапывали помногу, в иной год — свыше ста мешков, использовали в качестве расчётной единицы при покупке дров, комбикорма или бензина, а то меняли на шмотки у заезжих коробейников из числа китайцев или цыган. Однако родители (тут они проявили сплочённость) ни в какую не соглашались. Устыжали:

— Шавриным вообще есть нечего! А ты приставку вымогаешь...

Помню, как обижало это, ведь я учился хорошо, и у многих моих друзей, даже у тех, кто балбесничал на уроках, такие приставки были. Но когда я заикался об этом, мать с отцом почему-то обязательно вспоминали вечно голодных Шавриных или тех моих друзей, которым приставок ещё не купили. Не то было, если я получал плохую оценку! Тогда забывался прокуренный двоечник Витя Шаврин, а в пример ставились те мои сверстники, которые учились ровно, без двоек, сами гладили свои рубашки и побеждали во всяких олимпиадах. И это тоже задевало. Я думал: учусь хорошо — приставку не дарят, указывают на доходягу Шаврина, который все перемены околачивался у школьной столовой, мечтая, что кто-нибудь поделится пирожком или бутербродом. А неуд схлопочу — тем более о приставке забудь...

С тех-то отроческих пор и засело в голове, и чем я становился взрослее, тем волновало всё больше: что кроется за нашим всегдашним равнением на тех, кто живёт хуже? Равнением во всём, главным образом — в мерах материального благополучия. Уж не ограниченность ли, то бишь неумение жить лучше, чем большинство, и, как следствие, не боязнь ли движения вверх при милой русскому сердцу любви к общему знаменателю? И не прав ли был желчный писатель Юрий Нагибин, говоря, что русскому человеку счастье ни к чему: он попросту не знает, что с ним делать?

— Всею жизнь бедно прожили! — вздохнёт, случается, наш человек.

А другой тут же и поправит:

— Почему бедно? У Ивана совсем пусто в кармане, дак ничего...

Может быть, только годам к двадцати я стал догадываться, что на самом деле это и не равнение никакое, не призыв “живи, как Иван”, и что в истоках подобного отношения к жизни лежат такие хотя и прописные, но изрядно подзабытые христианские понятия, как сострадание и смирение.

И так во всём, что касается достатка!

В вопросах не материального, а духовного совершенства всё у нас наоборот, как вообще амплитудные колебания между полюсами характерны для

русского человека. Русский человек не скажет: “Будь двоечником, ведь и Шарин двоечник!” Нет, укажет на Иванова, потому что тот — отличник...

Ну, да пока поймёшь, покуда постигнешь эту науку на своей шкуре — пуд соли съешь, да голодным спать ляжешь! И дураком помрёшь.

УРОК

В девяностые объявился побирушка. Давненько их не было — наверное, с военных лет. В деревне уже и забыли о них. А я так на своём веку и не видел, только читал в книжках. И вот настали новые времена...

Фамилия у него была подходящая — Тараканов, как у какого-нибудь героя Достоевского. Разумеется, местная ребятня тут же окрестила новичка Тараканом, тем более что образ жизни отчасти соответствовал. Правда, собственно беспризорным Тараканов не был, переехал в старую деревню из города с матерью и отчимом. Поселились в избе покойной бабки Елены, с окнами на речку.

Было это летом. А осенью Тараканова записали в школу, не то в первый, не то во второй класс. Только учёба не давалась. Спал на занятиях, а то и слонялся по улицам. Подумали, что труднообучаемый. Раз-другой вызвали мать — не пришла. Тогда явились сами — комиссией. Тут-то и обнаружилось, что семья у Тараканова — пьющая, в холодильнике мышь повесилась, а голодному какая наука? В деревне, если надавить на слезу, кто-нибудь да подаст.

Так вот и стал кусочничать, вместе того чтобы сидеть за партой. Придёт, поканючит — вынесут хлеба, молока в бутылке или чего-нибудь к чаю. Сладости съест, остальное — с собой. Может быть, мать настропала — ходить и просить, таскать домой. Наверное, потому и город покинули, что люди в деревне проще, мягче. Притом что время сделало всё для того, чтобы в равной степени облачить в железо и деревенских, и городских.

Вскоре все знали, что Тараканов — побирушка. Жалели его, а мать с отчимом — костерили. Говорили, что с него-то, неродного, как с гуся вода, а ей, суке, задрать подол и насовать крапивы. Или пробку от корчаги забить. Шпана, бывало, задирала Тараканова. Но и то: догонят, схватят, посмотрят, что смышкывал, да и отпустят, ничего не забрав.

К зиме Тараканов обошёл все дворы, а иные не по одному разу, и хотя в школе его поставили на бесплатное питание, занятия своего не бросал. Он, строго говоря, не просил, тем более не клячил. Просто приходил к калитке и стоял, пока не увидят. А когда запускали, принимал такой сиротский вид, что нельзя было не дать.

Однажды Тараканов пришёл к избе, в которой жили мои дед и бабка.

Бабушка в этот момент стирала в бане, а дед затыкал в подполье отдушину, потому что пробрасывал снег и картошку могло прихватить заморозками. Тут надо сказать, что у бабушки было заведено устраивать к Рождественским праздникам постряпушки — привечать колядующих. В грустные времена, о которых речь, из деревенских ребятишек если какие и колядовали, так чаще те, в чьём доме, как у Тараканова, шаром покати. Нечего говорить, что к бабушке всякий вечер наведывались одни и те же ряженые, приваженные еёстряпнёй: булочками, шаньгами, пирогами из налимов. Мы таких сразу опознавали, несмотря на мазаные сажей рожи и весь их бесовский вид. Но никогда не шпыняли, хотя, говоря честно, держались высокомерно. Кричали, когда в сумерках слышалось топтанье у ворот:

— Опять эти пришли!

Но до колядок было ещё далеко, а Тараканов тут как тут. Потянул за верёвочку, поднимая засов, а когда на лай собаки вышел дед (думая, что принесли пенсию), потупил глаза:

— Дайте молока и хлеба.

Лицо у деда стало недоумённым. Растерянным. Затем — омрачённым. В конце — злым...

Он выгнал побирушку. С руганью. С рёвом. С летящей слоной. Обозвав: “Горсть волос!” Пристукнув оземь кирзовыми сапогами — чтоб дул шибче и не оглядывался. После чего захлопнул ворота и выдернул верёвочку.

Тараканов и припустился со всех ног, а потом сидел на угоре и ловил ртом падающие снежинки...

Мы не могли простить деда. Стыдились его. Почти ненавидели. Переживали, что в деревне обо всём прослышат и станут судачить о том, как он пожалел для ребёнка кружку молока. И нам тогда не будет жизни, любой наплюёт в глаза. Дед, видимо, и сам раскаялся, и когда бабушка припоминала ему этот случай, молча поднимался и уходил.

Наверное, из наших все уже забыли и о побирушке Тараканове, и о том, как поступил с ним дед, тем более что спустя несколько зим старика не стало, а пару лет назад прибралась и бабушка. Но я всё помнил тот день, деда, в бешенстве топающего ногами, его внезапную злобу и ненависть, и Тараканова, в ужасе драпающего по улице...

Лишь со временем, пусть с оговорками, принял я правоту старика и понял, что его всё-таки возмутило.

Конечно, ни на молоко, ни на хлеб он бы не поскупился. Но ведь и в самом деле дико, что пожаловал среди бела дня человек — и христардничает. Не война, не мор. Не помощь предложил в обмен на хлеб-соль, а... Выньте и дайте! Стоит с протянутой рукой. И даже то, что перед ним всего-навсего мальчик, должно быть, не тронуло старика, который сам с таких лет привык не дарма брать, но своим трудом кормиться от земли. Потому что повадить на лёгкий хлеб сызмала, да ещё в деревне, где голодает разве что ленивый, — грех, может быть, почище того, что совершил дед, отказав страждущему...

Вскоре мать Тараканова лишили родительских прав и деревенского побирушку сдали в детдом.

ЧАША ГОСПОДНЯ

1

На пустыре в центре посёлка, там, где решили выстроить часовню и уже заручились благословением митрополита Иркутского и Ангарского, установили по такому случаю православный крест и отслужили молебен.

Крест этот с двускатным голубцом-навершием видно из моего окна, равно как и дом напротив, в котором живёт мой одноклассник (тот, что работает в котельной бульдозеристом). На лавочке перед Генкиным домом в тёплую пору года едва ли не каждое утро кучкуются мужики и молодёжь — парни моих лет, вошедшие в зрелую силу, уже семейные, детные. Зимой — заседают в гараже, отстроенном на этом же пустыре. Гомозятся, изыскивая по карманам, либо подступаются к тебе с предложением какой-нибудь нетрудной одномоментной помощи, а то занимая под будущий калым. Наконец, разживаются, и о том, что душеспасительная сумма найдена, можно судить по гонцу, стартующему в направлении магазина, а через некоторое время так же споро и скоро возвращающегося. И уж тогда возле Генкиного дома становится шумно и копно. Прохожие, озирая горластую компанию, обычно посмеиваются: “Опять *воробы* слетелись!” К вечеру, впрочем, “воробы” разлетаются, а кое-кого уводят под руки или транспортируют в мотоциклетной коляске...

Этим летом, проходя мимо креста, обратил внимание, что земля подле усеяна бутылочными осколками. И, конечно, взял грех на душу, заподозрив мальчишек. Но спустя день-другой, наблюдая за обычной колготнёй у Генкиного дома, понял, в чём дело. Это Генка, когда очередная поллитровка бывает выпита, проворно вскакивает с лавочки и, размахнувшись, как гранатой, что есть мочи метает через пустырь, причём не абы как, а норовя попасть в бетонную плиту, лежащую в нескольких шагах от креста. Бутылки, ударяясь о плиту, взрываются стеклянными брызгами, к вящей Генкиной

радости, которую он бурно демонстрирует то неприличным жестом, то матерным словом. И есть в этой иезуитской меткости, а прежде в самом намерении расхлестнуть бутылку именно таким образом, что-то несусветное, дикое, мерзкое, возвращающее во времена, когда ломали руки священникам и сшибали купола с православных храмов. Может, поэтому-то мужики, да и парни повзрослее, говорят: “Ты чё творишь-то?! На хрен нужно...” — и никто не следует Генкиному примеру.

Но ведь и вправду: и несусветно, и дико, и мерзко. И оторопь берёт, и не знаешь, что сказать, и оправдания не находишь — ни Генке, пуляющему бутылками туда, где ещё недавно велась служба, читались молитвы и женщины стояли с покрытыми головами, ни себе, бессильно-безучастному к происходящему. И гадаешь: не закончился ли этим русский человек? И лишь, как на уцелевшую зелёную полянку посреди выжженного леса, идёшь на смутную, ещё неявно, а лишь ощущением близкого просвета очертанную мысль-догадку о том, что хотя бросает Генка бутылки к православному кресту, однако вряд ли он, простой деревенский мужик, посягает тем самым на Веру, и поэтому было бы заведомо неправильно обвинять его в безбожии. Тут другое. А вот что — поди разберись! И живёшь, как будто в тебе, почти завершённом в понимании чего-то крайне важного для твоего народа, выложили последний венец, отмерили чин по чину, а паз, скрепляющий ряд, вырубить забыли.

2

Наверное, так бы и пребывал в раздумьях ещё бог знает сколько времени, если бы не памятный случай.

Он произошёл минувшей осенью. Я катил тележку с флягой, отправясь на речку за водой, а Генка на своём закопчённом бульдозере как раз выполз по взвозу напротив школы и, проезжая мимо, неожиданно боднул мою тележку. Толчок был настолько сильным, что тележонка встала торчком, фляга с грохотом опрокинулась, замяв надетое ведро, и сам я чертыхнулся и растелился на земле. Генка как ни в чём не бывало газанул и уехал, а я поднялся уже другим человеком, а возможно, и не человеком — всего лишь оскорблённой плотью, вздыбленным мясом, озлобленным мстительным умом. И пока черпал воду из Лены, пока вёз обратно свою флягу, мысль моя пульсировала, заливая глаза, и всё моё униженное естество искало возмездия. Поэтому, придя домой и не занося флягу в сени, я первым делом прошёл в сарай, сдёнул с гвоздя виток собачьей цепи, намотал на кулак и двинул в котельную, во дворе которой стояли Генка и другие парни и, казалось мне, смеялись надо мной.

Однако ещё по дороге встретила мама. Она шла из магазина с двумя авоськами, увидела и окликнула, и если бы не это, я бы, пожалуй, ворвался в котельную и расписал обидчика до полусмерти. Но мама подошла, подала свои поклажи, тяжестью их словно бы высвободив из меня чёрную адскую силу моей неоспоримой правоты и возмущённой гордыни, и голос матери, назвавший моё имя, снова вернул во мне человека, победив мясо и утишив гордый ум...

С того дня мы здоровались с Генкой едва заметным кивком. Но если я не мог забыть ему его поступка и потому уклонялся от общения, то Генка, похоже, сторонился меня по какой-то другой причине — может быть, из-за раскаяния, которое он, скорее всего, стеснялся афишировать.

А что оно, раскаяние, вошло в Генку, стало ясно вскоре.

Уже пришла зима, выпал снег, я стал вывозить его за дорогу всё в той же тележке и к концу декабря набуровил преогромную кучу. Когда выгружать стало некуда, пришлось взять лопату и торить подъездной путь ещё дальше, отчего трасса моя удлинилась, рейсы туда и обратно сделались продолжительней, а расход сил, соответственно, увеличился.

В один из дней я отлучился в город, а по возвращении обнаружил, что на месте снежной свалки, которая была ещё утром, — чистая ровная площадка с хорошо видимыми проскрёбами до земли, какие обычно оставляет

бульдозер. Дома сообщили, что это сделал Генка, сам, своим хотением, а потом позвонил в дверь и передал, чтобы я не рвал пуп: дескать, он, Генка, если будет нужно, снова приедет и уберёт.

И я наконец-то дознался! И, как обычно со мной бывает, ужаснулся первоначальному намерению найти и жестоко наказать бывшего одноклассника. И уже я раскаялся в своих замышлениях против него, а потом возблагодарил и маму, и Бога — за то, что увели от греха и дали счастливую возможность не в книжке прочитать, но узреть своими глазами, как погибает и воскресает человек, уже погребённый тобой в скороспелых решениях твоих. И вспомнилась история с крестом и бутылками, и я подумал, что не надо бы нам спешить с выводами и чуть чего хвататься за нагайку. Нужно бы, наоборот, набраться терпения и подождать, чем он в следующую минуту проявится, этот русский человек, и до сего не понятый, несмотря на потуги.

Конечно, кто-то скажет, что при таком нашем промедлении велик риск высвобождения из народа тёмных сил и, как следствие, падения его в крошечную бездну, в которой мы и без того сжигали не раз, — и уж тогда дай Бог но́ги, крещённый мир и не крещёный. Но ведь есть и надежда на чудесное исцеление, которого от нас давно не ждут, да и сами мы, похоже, всё меньше верим в него, — и примеры подобного национального пробуждения, только и возможного что ввиду надвигающейся гибели, отечественная история также знала и прежде. Вот бы и помолчать, не судить, не заполошничать, дабы безверием своим не покачнуть чашу весов в ту сторону, откуда уже не будет возврата.

С ЛЮБОВЬЮ И СМЫСЛОМ

К зиме в деревне — первая убоина. Короткие резкие выстрелы, лай собак, рёв паяльных ламп на морозе, запах крови и жжёной шерсти. Дымящиеся груды мускулистого красного мяса. И — тучи ворон над двором, где надёрнут на гвоздь жёлчный свиной пузырь или откинута на заплот тёплая бычья шкура. К вечеру она застынет, а к утру промёрзнет насквозь. “Тук! Тук! Тук!” — как по фанере. С раннего утра до позднего вечера. Это синицы. Для них и вывешивают, чтобы клевали всю зиму. Так и говорят:

— Пусть птички долбят!

Может быть, ничего сверх не сделают, не обрежут пластиковую бутылку, не подвешат на шнурке в палисаднике и не насыпят подсолнуховых семечек, не объявят “Синичкин праздник”... Но шкуру на забор — непременно!

Иногда (впрочем, теперь совсем редко) в этом откидывании — прямой смысл: до весны птахи измездрят шкуру так, что бери обезжиренную и делай, что хочешь. Но ведь в деревне, на земле издавна повелось, что во всяком жесте, в поведении, в поступках не было этойкой игры в добродетель, и уж если называлось добром, то добром и являлось, и за добро почиталось, а раз для чего-то творилось, то, как правило, не ради этического удовлетворения, а лишь потому, что рука об руку шло с жизненной необходимостью. Иначе за игрой в добродетель деревенский человек расплющил бы все свои силы, которых у него и без того в обрез, то есть ровно столько, сколько требуется для жизни — ни больше ни меньше.

Вот почему произведение искусства тогда, по-моему, хорошо, когда добродетельно по сути, а сумма затраченных на его создание средств сообразна коэффициенту полезных действий этого произведения на практике.

И ВСЁ-ТАКИ

Моет в ведре с дождевой водой огромные мужицкие руки — страшные, в надувшихся жилах, через которые, как сквозь медные трубы, протекла его трудная жизнь.

— При Сталине запретили палить свиней, а кожу обязали сдавать в пользу государства — на кожевенное производство... — говорит медленно,

тягуче, как если бы не своим хотением произносил слова, а сами они срывались с языка по мере вызревания. — Вот снимали, развешивали на поветях. Сушили. Приезжал приёмщик, забирал. Сало не могли срезать подчистую — шкуры засохнут. А мы же ещё шпаной были, ума-то не было. А была же война. Голодно! Так вот мы с Шишкиным доберёмся втихаря — и ножами соскребаем это сало. Жир засохший. Жё-олтый. Едим прямо так. Один раз поймали, хотели судить. Мать заплакала, побежала за “воронком”...

После молчания, вытерев рушником сначала глаза, потом лицо, шею и лишь затем — особенно старательно, насухо, как инструмент после работы, — руки:

— И всё-таки справедливости было больше.

ЛЕТОПИСЦЫ

На первой двусторонней встрече писателей столицы и провинции — одна прогрессивная московская интеллигентка, накинув ногу на ногу и держа лицо высоко, независимо:

— А разве в русской деревне ещё производят коровье молоко?! Там давно пьют китайское сухое...

Помню, как обожгло. Даже язык отнялся. Почему с их колокольни не видно?

...А деревенские — старик или старуха, сидя на лавочке перед домом, — поднимут руки на свет, сожмут раз-другой (“чтобы кровь протолкнулась!”) и улыбнутся:

— Но да пусть она не трёкает своим поганым языком! Нам-то не надо говреть...

И тоже: откуда эта уверенность? Ведь речь может идти о какой-то другой деревне, каких тысячи на Руси!

Руки — главные носители национальной памяти. Всё остальное со временем источается, дряхлет и теряет свойство запоминать и передавать в первоначальной целостности. Книги, слова, речи... А там, где утрачен этот живой дар, возможна подмена. Она-то и вкрадывается в книги, слова, речи. Во все эти колокольни, в сам звон их. Вот почему лобастый губошлёп может сколько угодно разглагольствовать о России и русском народе, поворачивая суть то в одну, то в другую сторону, лишь бы самому голую задницу прикрыть. А работяга, шофёр, крестьянин, вообще трудовой человек при всякой погоде скажет:

— Нам-то чё за жили-были рассказывать? Нашими руками сделано!

И ещё: только физический труд сберегает это подлинно народное, соборное чувство Правды. Только руки — как стрелки компаса, который ни стяхнуть, ни обмануть. Всегда укажут, где — ложь, где — Правда. Это чувствование Правды наравне с органическим отторжением лжи кочует из поколения в поколение, как из рук в руки завещают: рабочий — зубило, водитель — баранку, а крестьянин — соху. Так тысячу раз можно прочитать о коровьем молоке — и тысячу раз пустить это знание по ветру, едва закроешь книжку. Но нипочём не забудешь, если руки твои хотя бы раз трогали тёплое коровье вымя или несли подойник, полный молока с дышащей парной пенкой, а тем паче если самого тебя в детстве будили руки, от которых пахло молоком. Оттого-то сын крестьянина никогда не ляпнет глупость сродни той, что болтнула начитанная городская писательница, и вовсе не потому, что сам-то он живёт в деревне и знает, как там да чего. Ему руки, правда их, память поколений не позволят соврать. Сами руки не допустят криводушия и пустозвонства.

РУССКИЕ СКАЗКИ

В детстве моём приключилось: поймался в корчагу налиим, бабушка завела тесто, протопила русскую печь и посадила рыбник — старинный, какие её мать пекла, из непотрошёного налима. Пришло время — вынула, смазала

утиным крылышком, макая в топленое масло, дала настояться в рушнике и только затем взялась резать. А налима-то и нет, один пустой мякиш! Кинулась к печи, стала шуровать кочергой — налим тут и есть, запёкшийся. У бабки глаза навылупку! Побежала в проулок, где дед пилил дрова. Он-то и растолковал, что, видать, не убил, а лишь оглушил налима, тот и ожил в тесте, когда стало горячо, да и выпрыгнул из пирога...

Ни бабушки, ни деда уже не было — произошёл другой интересный случай. Как-то осенью, после ледостава, иду на реку за водой. Навстречу — высокий седой бурят, учитель ОБЖ. В руках — два ведра. В одном — вода, из другого торчат топориче и щучий хвост. Рассказывает, что прорубил лёд, наклонился с ведром — а там щука! Кокнул обухом, почерпнул и понёс — хозяйке на уху...

— Надо было желание загадать, Олег Андреевич! — говорю.

— Да я загадывал, чтоб ведра сами шли, а чё-то не идут ни хрена!

— Ну да! Сначала топором по голове, потом — желания...

Вместе посмеялись.

И вот пошёл он дальше, понёс щуку в ведре, смеша прохожих. А я чего-то расчувствовался, вспомнил бабушку с дедом, детство своё. И впервые понял совершенно определённо, что наши русские сказки — не такой уж и вымысел, и случись история с печью, пирогом и убежавшим налимом лет этак тысячу назад — из неё обязательно произросла бы какая-нибудь волшебная история вроде “Колобка”. Да и теперь: пойдя ведра учителя сами по дымной от мороза улице — пожалуй, я не удивился бы! Потому что было детство. Были бабушка с дедом. И налим выпрыгивал из пирога.

КОТОМКА

“Душе без веры, как сиротской котомке без хлеба...” Не вспомню, за кем записал. Когда. При каких обстоятельствах. Но сказано верно. Только сейчас начинаю это сознавать. И дело, может быть, не в Боге...

— Спасение в чём? — как-то спросил я у православного писателя.

— В молитве, — ответил писатель.

— Но мне не Бога надо! Мне надо человека! — вырвалось у меня.

Писатель ничего не сказал. Лишь пошевелил губами — помолился. Наверное, за меня. За мою пустую котомку.

ИСПОВЕДЬ

Я мучаюсь, потому что не знаю, кто я: Моцарт или Сальери? Оказаться Сальери — страшно.

Я хочу создавать произведения искусства, но не уверен, что создаю.

Я мыслю себя художником, но являюсь ли им на деле?

Я думаю: всё, что написал, держится на плаву правдой жизни. Но ведь есть ещё художественная правда. Не часто ли мы, загораживаясь правдой жизни, поступаемся правдой художественной? Отдельно друг от друга, вне искусства, эти правды существовать могут. Но в произведении искусства они не должны замещать друг друга. Ибо: 1) единственно правда жизни — это не искусство и 2) единственно правда художественная — это искусство для искусства, а искусство должно быть для жизни.

КРАСНЫЙ ТРАКТОР С ТРУБОЙ

Ни снега, ни грозы ещё нет, но уже качает ветки рябины. Убывающий месяц стоит на западе и в одиннадцать часов утра, а на востоке в то же время — ослепшее белое солнце. Смотрят друг на друга, как собаки с разных концов деревни...

А вообще — что я пишу, о чём переживаю! Вот уже двенадцать натовских кораблей у берегов России. После нынешних событий в Абхазии и Северной Осетии всё-то нам грозят из-за океана, стучат пальчиком... Неужели ракеты победят разум?

Сегодня Путин хорошо говорил в Сочи (на встрече с американскими представителями), что “нам не страшно” и что “это не российские корабли у берегов Америки”. Резко высказался Виталий Чуркин (в Америке, у змеи в пасти) — о бомбардировках Ирака: “Нашли оружие массового поражения? Или ещё ищите?!”

Если начнётся Третья мировая, земной шар превратится в чёрную точку, которую человечество поставит в конце своей истории. Вернее, всё-таки не человечество, а кучка пучеглазых гегемонов.

...К вечеру подул хиуз, сгибая бурьян за окном. Заклацали стёкла. Но всё же оттепело — до минус 36. В окно вижу, как двое на пустыре у дома пилят дрова, а кто-то идёт с бидоном к реке, и стрекочет с дымком над трубой красный колёсный трактор, лобовое стекло алмазно сияет в гаснущих лучах заката. И страшно представить, что вот сейчас запишит радиоприёмник, откашляется, отплюётся, а потом заговорит взволнованный мужской голос...

По прогнозам, снова ожидаются морозы под 50. А что-то будет на Крещенье?

ЧИТАТЕЛЬ

Окончил в войну четыре класса, “гонял почту” — возил конно в районное село, полста вёрст пути. В мороз — коня не видно! Потом трудился в колхозе, в совхозе — сначала на гужевых, затем на тракторных работах. Пахал, таскал сеялку. Летом ставил, а зимой тягал сено с речки Королёвой и трелевал лес. Либо иная запарка. На пенсию ушёл в разгар перестройки. В нулевые схоронил старуху. Дети — кто где: кто — в городе, кто — своей семьёй в посёлке. Живёт один, в избе с четырьмя красными звёздочками со стороны улицы. Раз в месяц гулеванит, обмывает пенсию, называя её “стипендия”. Стали барахлить ноги — взял в руки лыжную палку. Ходит с ней по деревне. А чаще сидит на лавочке за воротами, в тени черёмухи, свисшей над забором. Смотрит, кто куда идёт, кто сено везёт и какое судно плывёт по Лене...

Последние год-два побросал пить-курить. И вроде мало-мало одыбал. Хоть и посóх, но стал ходче. Ночует у себя, топит печку, чтоб не заморозить картошку в подполье, а на день сматывается к дочке в посёлок — “смотреть тарелку”.

Зимой возвращаешься из леса — переходишь реку напротив его избы. Так он, если наострился в посёлок, обязательно подождёт, пока поднимешься задумой тропинкой на угор. Скажет глухим намолчавшимся голосом, в котором всегда теперь слышится какая-то ослабшая струнка:

— Но-о, А-ан-ндрюха-а из тайги идё-ёт! Приве-е-ет!

И сам идёт следом. Да не идёт — семенит, изо всех сил стараюсь не отстать. А когда всё же отстаёт, предупреждает, имея в виду, что ты ему потрафил и сбавил ход:

— Ты иди-иди, на меня не смотри. Я тут.

— А чё на тебя смотреть?! — пробасишь ледяным с мороза голосом.

— Вот блестящий род! — засмеётся, поднеся шубёнку к лицу, потому что глаза от смеха наслезились, и ресницы на ветру облудило инеем.

Отняв шубёнку, добавит серьёзно, оставшись с красными, всё равно что заплаканными глазами:

— Надо мне, парень, до стипендии как-то протянуть, за свет внести да за дрова уплатить! А то уйду в страну вечной охоты, будут меня материть...

Его подробные расспросы — не любопытство, а деятельное участие. Оглядит лыжи, рюкзак, ружьё. Но об этом не заикнётся. Его интересует, была ли нынче ягода, есть ли соболь, цела ли в кедраче избушка Ивана Иннокентьевича и срубил ли ты пасти на зайцев, а если да, то скольких уже

задавил. При этом расскажет, как сам охотился, припомнит до копейки стоимость беличьей шкурки в каком-нибудь 1968 году и в красках опишет случай, когда промхозовское начальство жестоко надуло в оценке соболей, так что оказался ещё и должен. И во всём этом столько неистребимой силы, какой-то здоровой настоящей жизни, которую и старость не перешибёт!

Пока идёшь и слушаешь, исказнишься своим несоответствием, тем, что жизнь твоя не обладает целостностью, как жизнь старика, а ветвится на взаимоисключающие протоки, и ты, например, возился с рассказом, но так и не нарубил заячьих ловушек, хотя всю осень собирался, да и капканов зарядил не столько, сколько мог бы, сколько старик в твои годы поднимал. А ещё в очередной раз поймёшь, что есть в тебе непозволительное отступничество, вырождение, червоточина, но ни себе, ни тем более старику не объяснишь, почему всё-таки живёшь так: ни рыба, ни мясо. Притом что и у старика жизнь ветвилась — на колхоз, на охоту, на рыбалку, на семью, на выпивку, на огород, на плотничество и ещё много на что. Но он как-то всюду успевал! Наверное, потому, что все эти ветви, ручейки, речки были перпендикулярны основному потоку и впадали в него, образуя великую водную систему, именуемую народной жизнью. Между тем как твоё писательство для деревни — это такая бесконечная параллель...

Но не только чужест и инородность *всего твоего* ты постоянно ощущаешь, живя среди простых людей, но и чужест их *всему твоему* тоже не даёт тебе покоя. И ты думаешь, кроме прочего, что такие, как этот старик, не постигают *всего твоего* в должной мере и видят в нём только то, что самим ближе и понятнее, а чем по сути живёшь-можешь — для них неведомо.

Так, долгое время я считал, что для старика я — местный охотник и рыбак, подрабатываю сторожем в поселковой школе. Но однажды старик спешил меня на перешейке между старой деревней и посёлком, и когда я снял лыжи и пошёл рядом, спросил, хорошо ли я попромышлял в минувшую осень. Получив отрицательный ответ, старик вежливо покивал, а потом сказал, как бы давая понять, что он тоже не лыком шит и с ним можно начистоту:

— Лодка-то на том берегу лежала... А ты, значит, почти не охотился, просто жил в избушке. И чё ты там делал? Работал?..

Этим “работал” старик и выдал себя — и заодно выдал меня, *того*, который, как мне представлялось, не знаком старику и живёт не известной ему жизнью, находясь как бы под стеклянным куполом. Но вот купол с дребезгом лопнул, посыпались осколки — и старик стоит перед тобой босой, потому что и он, как оказалось, был скрыт для тебя за каким-то своим куполом. И ты стоишь перед ним босой — каким и был в своём мире, один на один с собой, с лесом, с болью своей, с мыслями, со страхом — однажды споткнуться, зацепившись лыжей, упасть вперёд лицом, закусить губу и умереть в полнейшей тишине. Словом, оба вы стоите друг перед другом — как на ладони, и между — только этот падающий снег да шубёнка, которую старик то и дело подносит к глазам.

— Мне заняться-то нечем, — словно извиняясь, добавил старик. — Телевизор смотреть, дак надоел хуже горькой редьки. Утром проснёшься, ишо светать не начало, и лежишь, зенки пучишь. Весь день впереди! Вот печку натоплю, собаку накормлю да читаю — доча купила мне твою книжку... — закончил простодушно. И я проникся к нему не просто симпатией, а глубокой личной привязанностью, потому что старость обрела его на одиночество, и мы, доселе такие разные, пересеклись в этом тупике.

...Идя в тот раз домой, я снова сравнивал свою жизнь с жизнью земляков — да вот хотя бы с жизнью того же старика! — и во всём, чего бы ни коснулся, моя жизнь проигрывала, не имея ни такой природной силы, ни этой полноводности, ни, самое главное, бесценного дара — не терять основного русла. И было, как всегда, совестно за своё — писательское, сторожевое — перед ним, стариком, и перед судьбой его поколения, перед их трудным прошлым, перед этими красными звёздочками на избях и уважительным “работал”, которым старик, трудяга до мозга костей, повеличал моё бумагомарательство. Так совестно, как будто сам ты ничего не значишь

и только земляки по доброте своей этого не замечают, или — того хуже — пытаются оправдать, выдумав, например, что ты важная шишка в Москве и гонимый у тебя за публикации — на двух сберкнижках.

А ещё я вообразил, как старик, затопив печь и накормив собаку, взял со стола очки, сел у окна и раскрыл мою книжку. Разбирая затейливую вязь, — путался, проступался, съезжал с мысли, как с лыжни, которую задувал ветер — своенравная воля автора. И, однако, зачем-то упрямо продвигался вперёд, лишь по временам загибая уголок страницы, чтобы поджечь в печке. Что он при этом думал, я не знаю. Но почему-то представляется, что старик читал мою писанину — как ерша выпутывают из сети: долго, нудно, прокалывая пальцы и вытирая о штанину, злясь оттого, что — колочий, склизкий, маленький, а столько ячеек на себя собрал... И как рыбаки в этом случае, так старик, наверное, иногда не выдерживал и чертыхался:

— Но накрутил, накрутил!..

И как только я всё это живо нарисовал, стали тем более противны собственные повести и рассказы, которые вряд ли сможет одолеть такой вот деревенский старик с четырьмя классами образования. И тогда прилетело и загнездило в сердце понимание, что это всё — от лукавого, а жизнь моя, грустная параллель, таковой пребудет до креста, если я не найду общий язык со своим народом, пока сам народ с его простым внятным языком не станет основным руслом, которое мне надлежит обрести. А до тех пор всё ещё сияет надо мной стеклянный купол, и длится это ценное молчание, и нет конца одиночеству.

“КАРАНДАШИК ПРОСТОЙ”

Перед обедом размёл снег, который сыплет и сыплет. После обработал кое-какие записи. Как раз закончилась тетрадь, сходил в магазин за новой, разменяв последнюю тысячу. Купил ещё простой карандаш, чтобы всё как у Решетова:

*В стылых лужах кривая дорога,
Молчаливый лесок негустой.
Видно, кончились краски у Бога,
Есть один карандашик простой.*

...Спустя час во дворе — как будто и не выходил с метлой! Вижу в окне, как — весь в снегу, с молодой сосной под мышкой и камусными лыжами за спиной — идёт через школьный стадион, возвращаясь из леса, дядя Саня Пекарев. И по тому, как впало провис рюкзака, догадываюсь, что и дядя Саня проверяет пустые капканы: ни соболя, ни белки нынче. Всего и удачи, что вот эта сосенка накануне Нового года, да пышный снег на меховой шапке, да карандашик простой, которым я всё это описал.